

ВИКТОР БОЧЕНКОВ

“МЯТЕЖНЫЙ ПАСТЫРЬ, КНИЖНИК ДИКИЙ”

К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Два пророка

Перевернув последнюю страницу книги Юрия Селезнёва “В мире Достоевского”, обнаруживаю не совсем обычное соседство: протопоп Аввакум и автор “Братьев Карамазовых” сопоставляются, когда заходит речь о самых последних днях человека. Описание предсмертных минут не такая уж редкая вещь для литературы – художественной ли, мемуарной, документальной... Но филолог хочет передать это предельно достоверно. Ему требуется “другой пророк” (так он отзывается об Аввакуме), едва ли не единственный, которому дано было пройти через ещё большие страдания, чем Достоевскому.

Оставаясь до последнего предела верным себе, Аввакум обретал особое право свидетельствовать: “Он умирал не однажды, и только нечеловеческая сила духа, таившаяся в его тщедушном теле, возвращала его к жизни”. Дальше следует прозрение из его “Жития...”: “Бог вместил в меня небо и землю, и всю тварь... Так добро мне на земле лежати и светом одеяну, и небом прикрыту быти; небо моё, земля моя, свет мой”. Раз оба человека с одинаковой болью выстрадали право на слово, стало быть, и перед смертью должны ощущать и пережить одну и ту же сопричастность собственной судьбы к неизмеримым вселенским пространствам, которые их не отторгают. Так эта тайна – страдания и его смысла – совмещает вроде бы несовместимое. Двух столетий, разделяющих этих людей, будто не бывало. Пророки живут вне времени.

Откуда-то, может быть, из школьного учебника, помню рисунок: площадь с деревянным помостом, люди в балахонах, привязанные к столбам, шеренга солдат с поднятыми ружьями или винтовками. Они в шинелях, зима. У каждого на голове кивер с султаном. Офицер поднял саблю, сейчас последует сигнал. Вдали – контуры домов и храма. Купола – как чёрные свечные огоньки. Семёновский плац. Казнят петрашевцев. Что произойдёт дальше, известно. Залп не прозвучит. Прискачет “вовремя” гонец, и будет оглашён указ об отмене смертного приговора.

Дотошные историки литературы докопались, что рисунок появился где-то в двадцатых или тридцатых годах XX века и вовсе не сделан с натуры кем-то из очевидцев. Использовался он для книги Леонида Гроссмана “Достоевский”. Его правили. Какой-то знаток подметил, что солдатская форма скорее

соответствует эпохе наполеоновских войн, а в 1849 году она была уже другой. “Установили” перила на эшафоте. Он, по свидетельству петрашевца Николая Кашкина, был “обнесён решёткой”. Сам Петрашевский в то зимнее утро сбросил колпак с головы. Значит, и на рисунке кто-то из приговоренных должен прямо смотреть в чёрные зрачки ружей. Это добавляет героики. В толпе возле эшафота появился священник с крестом. На одних иллюстрациях он есть, на других – нет. . .

Достоевского, как известно, не привязывали. Ожидая очереди, всё происходящее он наблюдал со стороны.

Художник Григорий Григорьевич Мясоедов пренебрёг исторической правдой, когда Аввакума и его союзников, как петрашевцев, тоже привязал к столбам. На его картине “Сожжение протопопа Аввакума” (1897), конечно, нет эшафота. На заднем плане – тоже купола деревянной пустозерской церквушки, обнесённой неровным частоколом, дощатые крыши изб. В толпе выделяется боярин в рыжей шубе: видать, самый главный сановник. С ним рядом, по правую его руку, – поп, читающий молитву, а слева – дьяк с бумажным свитком, царским указом. Тут же стрелец в красном кафтане с тяжёлой пищалю на плече, опирающийся на тонкую палку старик, какой-то пустозерец, спрятавший руки за спину, мол, не причастен, не виноват я. . . Люди самые разные, но все будто дымка, тени, их лиц почти не различить. Столбы, как на рисунке с петрашевцами, тоже справа. К ним привязаны два человека. Обмотанные верёвками ниже груди, они могут согнуться, словно кланяясь народу. Самый дальний – совсем седой и старый, измождённый, а другой, с чёрной бородой и длинными волосами, моложе и сильнее. Он устремил взгляд на женщину, которая с поднятой, как для объятия, рукой рванулась к нему в огонь, охватывающий пленницу. Её, не оборачиваясь лицом, отталкивает от костра другой стрелец, держащий копье.

Зачем потребовались эти “петрашевские” столбы? Что Аввакума сожгли в срубе, художник не мог не знать. Или всё-таки это случайность: ну, захотелось ему так! Каприз творческой природы. . .

Не знаю. . . Может быть, тут, на мясоедовской картине, и нет никакой переклички с событиями на Семёновском плацу. Наверняка нет. И всё-таки два пророка “перекликаются”, пусть и опосредованно, благодаря творческому поиску пытливого русского филолога советских лет.

Аввакумовские “ещё большие” страдания и каторжный путь Достоевского были мукой за великую цель и за великую идею – за ту правду, которая выше всякой земной относительной правды и цена которой не укладывается в прокрустово ложе земных терминов, формулировок, определений. По большому счёту, на земле имеет смысл только то, что созидает человечество в единую братскую семью, где каждому отводятся своя задача, цель и предназначение.

В “Дневнике писателя” имя протопопа Аввакума встречается один раз. Вот в каком контексте: “Пушкин тоже во многом непереводим. Я думаю, если б перевести такую вещь, как сказание протопопа Аввакума, то вышла бы тоже галиматья или, лучше сказать, ровно ничего бы не вышло. Почему это так? Ведь страшно сказать, что европейский дух, может быть, не так многообразен и более замкнуто-своеобразен, чем наш, несмотря даже на то, что уже несомненно законченнее и отчётливее выразился, чем наш. Но если это страшно сказать, то по крайней мере нельзя не признать, с надеждой и с веселием духа, что нашего-то языка дух – беспорно многообразен, богат, всесторонен и всеобъемлющ, ибо в неустроенных ещё формах своих, а уже мог передать драгоценности и сокровища мысли европейской, и мы чувствуем, что переданы они точно и верно. И вот этакого “материала” мы сами лишаем своих детей – для чего? Чтоб сделать их несчастными, беспорно. Мы презираем этот материал, считаем грубым подкопытным языком, на котором неприлично выразить великосветское чувство или великосветскую мысль”. Это глава “На каком языке говорить отцу Отечества” за июль и август 1876 года.

В словах Достоевского отзывается философская теория Гумбольдта: дух народа, творящий и созидающий, живущий в его языке, непередаваемый и теряющийся при переводе, язык как деятельность духовных сил, тождество и взаимосвязь понятий “дух народа” и “дух языка”. . . Недаром, отмечает писатель, “язык” и “народ” у славян – синонимы.

Все остальные упоминания об Аввакуме остались в записных книжках. В набросках за 1867–1870 годы есть запись одного сюжета под названием “Смерть поэта (идея)”, упомянут “попик”, твёрдо ратующий за Православие и этим похожий на старообрядческого протопопа¹. В записных тетрадях за 1872–1875 годы набросано одной строкой: “Аввакум: задача женщины не в красивом виде”. То есть не в том, чтобы наряжаться и красиво выглядеть. Комментаторы полагают, что Достоевский читал послания к боярыне Морозовой, Урусовой, Марии Даниловой в “Русском архиве” за 1864 год. Любопытны мысли писателя, записанные тут же чуть выше. Они, а также строчка об Аввакуме объединены общим заголовком “Шелопуты”. Это название сектантского течения, введённое в оборот полемистами официальной церкви. К старообрядчеству оно не имеет никакого отношения, но Достоевский, в духе своего времени, не отделяет одно от другого. “Что, если он посмотрит на священника единственно как на чиновника от правительства”. Дальше с абзаца: “Что, если это движение имеет именно мысль самоспасания от растления, тогда возможно, что охватит всю Россию. Шелопутинское может умереть и нейти, но другое может подобное явиться”².

Тема русского религиозного разномыслия увязана у писателя, как несложно заметить, с будущими судьбами России.

Стараясь осознать русский путь и русское предназначение, обойти стороной старообрядческую историю – историю церкви, оставшейся верной дониконовским чинам и последованиям, той идее, которую всегда выражает обряд, эта видимая “одежда догмы”, – нельзя и невозможно. Это, например, почувствовал далёкий от религиозности, по крайней мере внешней, Ярослав Смеляков – человек совсем другой эпохи. У него “русская суть языка”, подобно мозаике, сложена из многочисленных “цветных стёклышек”, и каждое само по себе самоценно: убери – общая картина рассыплется, цельный образ исчезнет, смысл исказится. В стихотворении “Русский язык” своё место занимает и песня – колыбельная, кабацкая, трудовая, и литературная классика, и “перемолотые” заимствования, и “костры староверов”. Как без них?

Поэта не подвело умение схватить весь образ и всю суть в их целостности.

*У бедной твоей колыбели,
ещё еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова. <...>*

*Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ящик.*

*Ты шёл на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел. <...>*

*Вы, прадеды наши, в неволе,
мукóю запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.*

*Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
учёная важность земли. <...>*

Достоевский пишет об Аввакуме и “подкопытном”, то есть сыром и живом, языке, который имеет полное право быть в литературе. Если дети его не знают, то они обделены, лишены богатого “материала”, особенно значимого наследства. И Смеляков упоминает: “Ты шёл на разбитых копытах”, – а в следующей строке говорит о “кострах староверов”. Это так совпало?

Возможно. Других совпадений и параллелей по ключевым словам с “Дневником писателя” почти нет. Не упоминаются у Достоевского рязанские женщины, колыбель, кабак, ямщик с чаркой, Кольцов и Курбский, татарский и немецкий языки. . . Но говорится о том, что не надо бояться языка простонародья, что со школы нужно “заучивать наизусть памятники нашего слова, с наших древних времён — из летописей, из былин и даже из церковнославянского языка, — и именно наизусть, невзирая даже на ретроградство заучивания наизусть”. Язык “надо непременно ещё с детства перенимать. . . от русских нянек, по примеру Арины Родионовны”. Только потом переходить к иностранному. А оттуда уже “мы невидимо возьмём тогда несколько чуждых нашему языку форм и согласим их, тоже невидимо и невольно, с формами нашей мысли — и тем расширим её”. “Существует один знаменательный факт, — продолжает Достоевский, — мы, на нашем ещё не устроенном и молодом языке, можем передавать глубочайшие формы духа и мысли европейских языков: европейские поэты и мыслители все переводимы и передаваемы по-русски, а иные переведены уже в совершенстве”. А вот перевести Гоголя, Пушкина, Аввакума с русского на иностранный едва ли возможно без потерь именно того духовного пласта, стоящего за словом. И далее следует та цитата, с которой я и начал говорить об этой статье из “Дневника писателя”, о переводе именно Аввакума, о всеобъемлющем духе языка, который считается “подкопытным” . . .

У Достоевского и Смелякова — одна идея о языке, его живом духе и характере, народных истоках, о его восприимчивости к иноземным заимствованиям и способности верно и точно передать чужую мысль, о необходимости именно с детства, с колыбели, впитать и осознать ту живую суть, что стоит за словесной формой, “телом” мысли, её “оболочкой”, как выразился писатель. Она изложена разными средствами. Поэт, и это естественно, упоминает о недавней войне. Я не дерзну заявить с уверенностью, что “Русский язык” навеян именно “Дневником писателя” и конкретной его статьёй. В 1958 году Ярослав Смеляков “с тайной жадой новых строк” приехал по писательской командировке в Сибирь. По дощатым ещё тротуарам старой части города Братска он вышел к башне старого острога, где был когда-то заточён протопоп Аввакум.

*В её узилище студёном,
двуперстно осеняя лоб,
ещё тогда, во время оно,
молился ссыльный протопоп.*

Эта встреча с прошлым снова навела поэта на раздумья о языке как выражении человеческого и национального духа. “Русский язык” был начат в 1945-м, завершён окончательно в 1966-м, как и только что процитированное стихотворение “Один день”. Оно состоит из нескольких частей, вторая целиком посвящена Аввакуму. Поэт словно бы ощутил себя его современником:

*Мятежный пастырь, книжник дикий,
он не умел послушным быть,
и не могли его владыки
ни обломать, ни улестить. <...>*

*В своей истории подробной
другой какой-нибудь народ
полупохожих и подобных
среди прародителей найдёт.*

*Но этот — крест на грязной шее,
в обносках мерзостно худых —
мне и дороже, и страшнее
иноязычных, не своих.*

*Ведь он оставил русской речи
и прямоту, и срамоту,
язык мятежного предтечи,
светившийся, как уголь во рту.*

Удивительно близки сами мысли разных произведений – статьи Фёдора Достоевского и стихотворений Ярослава Смелякова.

* * *

Рассказ Юрия Нагибина “Огненный протопоп” завершается эпизодом казни Аввакума и авторским обобщением: “С этого пустозерского пламени возжётся костёр великой русской прозы”. Это красивая метафора, которая выражает огромное значение аввакумовского “Жития...” для отечественной литературы и культуры.

Литературоведы втискивают это произведение в свои хронологические рамки и, отталкиваясь от времени создания, относят его к русскому барокко (что бы сказал сам Аввакум, услышав такое слово?), к ранней автобиографической прозе... На деле “Житие...” стоит вне времени и тем более вне литературных канонов. “Костёр великой русской прозы” загорелся без него – иными неисповедимыми путями. Аввакумовского жизнеописания не знали и не читали ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь. Как литературный памятник, как памятник человеческого духа, а в этом редком сочетании и заключается его огромная сила, – оно без малого на два столетия выпало из русского самосознания и отечественной словесности. Точно так же исчезло до времени “Слово о полку Игореве” подобно затерянному в плодородной земле зерну, чтобы потом, по Далю, “прозябнуть” – ожить, приняться, “пустить корешок и стебелёк”.

“Житие...”, как и целый ряд других старообрядческих и дораскольных памятников (например, постановления “Стоглавого собора”), издал только в 1861 году археограф и филолог Николай Саввич Тихонравов при поддержке книготорговца Дмитрия Кожанчикова. Ответы “староверских костров” стали беспристрастно изучаться лишь со второй половины XIX столетия. Русское общество наконец “доросло” до понимания, что старая рукопись – имеющий полное право на жизнь литературный пласт, национальное богатство.

“Из колена Аввакумова”

В марте 1960 года настоятель Покровского кафедрального собора, что на Рогожском кладбище в Москве, Василий Королёв получил по почте обыкновенный серовато-голубой конверт с напечатанной на нём маркой в правом верхнем углу и красным советским гербом в левом. Обратного адреса не было. Он вскрыл его, отрезав ножницами края. Из конверта выпал двойной лист обычной тетрадной бумаги в клетку. Вверху стояло: “В Московскую старообрядческую архиепископию, г. Москва, Рогожский пос., Королёву В.”. Значит, прямо ему.

Протоиерей Василий служил на Рогожском с 1922 года без перерыва, у него было огромное число духовных детей. Письма ему шли со всех концов страны: кто церковный календарь просил выслать, кто делился своими бедами, кто спрашивал совета насчёт венчаний, погребений, крещения и прочих духовных треб. На конверте чётко отпечатался штамп с надписью “Нерехта” – местом отправления. Это Костромская область.

Почерк везде был одинаковым, “с” почти всегда превращалось в “е”, “о” в середине слов писалось отдельно от других букв, “ж” походило на сдвоенное “и”, “и” почти не отличалось от “н”, “ш” иногда писалось с одной отдельно стоящей палочкой-крючком, а “в” смахивало на крендель. Цвет чернил и в письме, и на конверте тоже был одним – синим.

Маститый протоиерей стал читать: “30 января 1960 г. в газете “Советская Россия” была помещена статья “Сохранить память о Пустозерске”, в этой статье упоминается, что Пустозерск был местом ссылки, в местном остроге томились восставшие монахи Соловецкого монастыря, лица, обвиняемые в ереси и безбожии. Что в земляной тюрьме-остроге провел 15 лет выдающийся писатель XVII века протопоп Аввакум. Здесь он написал большую часть своих произведений, в том числе всемирно известное “Житие”, автобиографию, а потом был сожжён...”

“Сожжён” было выведено с двумя “с” и одним “ж”.

“...сожжён на костре в 1682 г. У вас в настоящей старообряд<ческой> церкви ничего нет, это Вы сами сообщали, даже очень плохо, что о таком поборнике старообряд<ческой> церкви у Вас нет ничего, или вы умышленно не желаете получить это литературное достояние, а это можно, если Вы желаете, или Вас обуздало одно материальное увлечение – деньги...”

Наверное, автор обижался на то, что архиепископия не приобрела для своей библиотеки или для кинешемского жителя по его просьбе только что вышедшее в 1960-м “Житие...”. Предыдущее увидело свет в 1934-м с примечаниями Н. К. Гудзия.

Следующим грехом кроме денег было, похоже, “обрядоверие”, но слово, разорванное пополам, читалось совсем несуразно: “обрядневерие”.

“Это Вас губит, – заключал дальше автор, – и погубит, дело не в обрядах, а дело в вере, в чистой вере. Вы должны проявить заботу достать в магазинах гор. Москвы, должна быть выпущена книга Главлитиздатом, но Вы и этого не хотите, не спасет Вас и не поможет Вам Ваше протоиерейство. Вот протопоп Аввакум, это был человек своего времени, грамотный. Его сочинения не устарели по сие время, а Вы очень устарели. Простите за откровенность и за напутствие. Я думал, у Вас лучше, чем в патриаршей церкви, а оказывается, не лучше. Меня Ваш ответ удивил, что “книги у нас нет””.

Книгу выпустил не Главлитиздат, а Гослитиздат. Автор обозначил себя лишь двумя буквами А. П., добавив перед ними расхожую фразу: “С почтением к Вам”. Местоимение “Вы” всюду писалось с заглавной буквы. После подписи следовала дата: 17.03.1960 г. Но автору как будто было мало всего того, что он наговорил. “Обленились Вы, попы, даже готовый материал в газете, и то не хотите прочитать. Прочитайте эту газету”.

Откуда автор из Нерехты мог знать, что отец Василий не читал “Советскую Россию” и что вообще читает этот знаток и собиратель старопечатных книг, редких дореволюционных изданий? Тут его, как говорится, понесло... Священник сделал на конверте пометку: “Прочитать владыке Флавиану”. Архиепископ обмакнул перо в зелёные чернила и вывел внизу: “Кому отвечать? Нет обратного адреса”.

Письмо и конверт прокололи скрепкой и отложили в сторону. Минуту пятьдесят лет, и оно попало мне в руки, когда я разбирал архив Московской старообрядческой митрополии.

Я отыскал этот номер “Советской России”. Статья, о которой сообщал неизвестный “А. П.”, оказалась на второй странице газеты вверху. Всего четыре абзаца. Подпись меня не удивила. “Старший научный сотрудник Пушкинского дома Академии наук СССР В. Малышев” поддерживал переписку с архиепископией, и здесь его знали. Владимир Иванович был известным исследователем древнерусской литературы. Автор сотен научных работ, он опубликовал в том числе многие не известные ранее сочинения протопопа Аввакума. Кому, как не ему, было озаботиться судьбой Пустозерска.

Это поселение стало первым русским городом за Полярным кругом. Он контролировал экономику края, промысловую и торговую деятельность, добычу пушнины и рыбы, отражал набеги воинственных зауральских ненцев. Основан город был по указу Ивана III в 1499 году.

“Примерно с середины XVIII века Пустозерск, потеряв значение главного транзитного пункта на Север и в Сибирь, стал хиреть. К началу XX века “городок”, как называют по традиции жители Печоры Пустозерск и сейчас, представлял собой деревушку в 15 домов. В последующие годы население Пустозерска ещё более сократилось. А совсем недавно в связи с укрупнением колхозов немногие оставшиеся жители “городка” переехали в соседнее село Устье. Сейчас на территории Пустозерска осталось всего лишь три нежилых дома, которые также должны быть отсюда в ближайшее время перевезены”, – писал Малышев.

Предсмертное пророчество Аввакума окончательно сбылось.

Учёный ставил в своей статье вопрос о сооружении памятника на месте древней столицы Печорского края. По его мысли, на нём следовало бы перечислить важнейшие события из истории исчезнувшего города. “Это необходимая мера, чтобы в будущем не затерялось место замечательного северного русского поселения. А такой исход не исключен”.

Этими словами заканчивалась статья.

Слева от статьи стоял большой портрет слесаря-гвоздильщика Вячеслава Назарова с хабаровского завода “Металлист”. У него широкая улыбка, обнажающая ровные зубы, широкий лоб, зачёсанные назад волосы, густые брови, искрящиеся глаза. По подсказке опытного фотографа передовик, недавно закончивший военную службу на флоте, — герой не нашего, увы, времени — смотрит куда-то в сторону. Ниже стояло сверстанное в узкий столбик стихотворение “Ветер с востока” калмыцкого поэта Бема Джимбинова. И мне, и многим поколениям студентов Литературного института запомнились лекции по “зарубежке” его сына, необычайно эрудированного и обаятельного человека, профессора Станислава Бемовича Джимбинова... Под Пустозерском редакция разместила статью о лесных пожарах, уже с другой тревогой. Вся остальная площадь отдана статье о XV партийной конференции в Москве с лозунговым названием “Все силы — великому делу строительства коммунизма”. На соседней, третьей полосе — материалы о жизни Ленина, о положении в Америке, в Индии, куда приехал с визитом Ворошилов, во Франции. На четвертой — всякая мелкая всячина: заметка о “безграничных возможностях золотого кукурузного зёрнышка”, сообщения из разных городов, отрывки из писем, и для филателистов — несколько строк о выпуске марок и конверта с памятным гашением к столетию со дня рождения Чехова с портретом писателя.

Пустозерск заносило песком беспамятства. Разве вспомнишь о нём в этом круговороте событий? Как осмыслишь значимость этой памяти о нём? Владимир Малышев был прав, и его тревога отозвалась у неизвестного автора из Нерехты... Наверное, он был резок, но архиепископу Флавиану нашлось бы что ответить, оставь он адрес...

Малышев сумел сделать всё, что было в его силах, не ограничившись одной статьёй. В 1964 году на месте “городка” был установлен из камней разобранной пустозерской церкви Преображения небольшой обелиск, или стела. В 1982-м его акварельный рисунок, похожий в чёрно-белой печати на фотографию, опубликовал старообрядческий церковный календарь, издаваемый Московской архиепископией. То был особый год — исполнилось ровно 300 лет со дня мученической кончины Аввакума. Ниже была помещена памятная доска с текстом. “На этом месте находился г. Пустозерск, основанный в 1449 г. (ныне указывается 1499 г. — **В. Б.**), экономический и культурный центр Печорского края, сыгравший важную роль в освоении крайнего Севера и в развитии арктического мореплавания. Отсюда выходили промышленники на освоение Новой Земли, Шпицбергена и сибирских рек. Пустозерск был местом ссылки борцов против крепостнического гнёта и царского самодержавия — участников восстаний Кондратия Булавина, Степана Разина, Емельяна Пугачёва и др. Здесь в XVII в. находились в заключении писатель протопоп Аввакум Петров (сожжён в 1682 г. за “великие на царский дом хулы”) и дипломат Артамон Матвеев. На мысе Виселичном казнили ненцев, восставших против пустозерских воевод”.

Уже в “перестройку” равнодушные жители Нарьян-Мара воздвигли здесь небольшой деревянный памятник. Его автор, Михаил Фещук, стал потом директором пустозерского музея. В 1991 году был образован Пустозерский комплексный историко-природный музей, ныне Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник “Пустозерск”. 27 апреля 2012 года старообрядцы поморского согласия освятили рядом с памятным крестом часовню и трапезную в память пустозерских мучеников.

И всё-таки, всё-таки...

Есть ведь и другая, нематериальная, память.

Старообрядцы давно обсуждали памятник протопопу Аввакуму в Пустозерске. Что это могло бы быть? По православной традиции, часовня или крест. Не человеческое изваяние, конечно...

Как-то раз, выбравшись в Химки, я посмотрел в зале газет Российской государственной библиотеки “Старообрядческую жизнь”. Под таким заголовком газета “Народное благо” решила выпускать в 1906 году два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, особое приложение. С января выходила “Народная газета”, и приложение к ней называлось “Голос старообрядца” — один лист, как сейчас определяют, опираясь на современный стандарт, формата А3, всего две страницы. Тематика понятна уже по названиям. Но “Голос...” закрыли. На смену и пришла “Жизнь”. Просуществовала газета недолго, в свет вышло всего три номера. В первом на самой первой полосе по

центру был помещён большой восьмиконечный крест, исписанный славянскими буквами. Так, что свободного места нет. Эти символы с титлами нельзя прочесть без особого навыка и знаний. От краёв средней перекладины, как опущенные вниз человеческие руки, шли на рисунке столбики букв, расположенных в два ряда – текст, вырезанный на обратной стороне. На основном вертикальном столбе под греческой надписью “НИКА” (победа) буквы жались друг другу тремя рядами:

ККТ
ХВВ
ККЦ
КЦД
КВЧ
КАС
КБА
ИКВ
КПЯ
ТКИ
ЇБЕ

Этот “шифр” досужие ученые мужи в сопроводительной статье раскрывали следующим образом: “Како крест Твой, Христе, всех возвесели! Крест – крепость церковная, крест – царям держава, крест – возстание человека, крест – Адама спасение. Крест – бесам язва и крепких одоление. Крест – пагуба язычества. Такой крест истинный, яко Божий есть”. В других местах буквы написаны были неискусно, не соответствуя ни греческой, ни славянской орфографии. Где-то, например, на верхней дощечке, вместо ω следовало писать “о”, вместо “восьмеричного” “И” “десятеричное” “I”. Последнее “Я” в девятой строке сверху написало было как S, соединённое с I.

Статья называлась “Крест на месте сожжения Аввакума”. О нём самом сообщалось лишь, что он находится в одном из храмов Пустозерска. Публикуется только снимок. Больше ничего.

Пустозерск давно притягивал к себе паломников. Кем и когда был установлен здесь памятный поклонный крест, сложно сказать. У самих старообрядцев уже не осталось о том памяти. Но тот крест, о котором писала газета, не простоял слишком долго. Кто-то перенёс его за ограду храма официальной, синодской, церкви, который тогда был в Пустозерске. По сути, этот памятный знак был снесён и доступ к нему ограничен. Газета известила об этом факте крайне аккуратно, разве что читая между строк поймёшь.

На Всероссийских съездах старообрядцев после 1906 года снова зазвучала мысль восстановить крест. В “городок” был командирован начётчик Иван Степанович Жмаев. Он же потом подал в Министерство внутренних дел прошение, чтобы на предполагаемом месте сожжения Аввакума поставить деревянный крест с металлической дощечкой, где будет вырезана пояснительная надпись. Последовал отказ. Аввакум-де сожжён за политическое преступление, “за великие на царский дом хулы”. В переводе на современный язык, “за экстремизм”.

Образец дощечки был возвращён Жмаеву разбитым на несколько частей.

Вопрос поднялся с новой остротой после 19 июля 1914 года, когда Германия объявила России войну.

В 1915 году на Четырнадцатом Всероссийском съезде старообрядцев с докладом о памятнике в Пустозерске выступил публицист Иван Кириллов. Он говорил красивые и правильные слова. О том, что значение подвига Аввакума и иже с ним пострадавших неизмеримо глубоко. О том, что в пламени аввакумовского костра зародилась для всего русского народа надежда снова воскреснуть для самобытной и полной, свободной творческой жизни. О том, что в непоколебимом стремлении подвижника стоять за правду-истину, за правду-справедливость звучат высшие христианские мотивы. . .

Этическое понятие “правда” неохватно, поэтому Кириллов, публикуя свою речь в журнале “Слово Церкви”, не сумел обойтись без уточняющих слов, присоединяемых через дефис.

Спустя сто лет можно снова повторить и то, что смущало его тогда: “Когда оглядываюсь на наше время, на себя самих, горькое, острое чувство стыда

схватывает сердце, и мучительно встаёт вопрос: достойны ли мы протопопа Аввакума? Где в нас твёрдость его веры? Его божественный порыв, ревность по чистоте Церкви Христовой? Ощутим ли мы в своём сердце святую аввакумовскую нетерпимость к врагам Церкви Христовой и всего русского народа?”

Кириллов не дал ответа. Он был понятен. Этой аввакумовской ревности не было тогда, нет и сейчас. . . Оратор сказал, что лучшим памятником Аввакуму будет продолжение его дела – быть верными исконному русскому Православию и национальным началам общественной жизни. Это звучало общо, но у Кириллова не было времени развить мысль. Осознай, что ты русский, – уже этим сказано многое. Научись самостоятельно мыслить по-русски. Не бойся быть русским. . . Материальный памятник – только дань сыновнего долга, исполнение пятой заповеди. Тем не менее Кириллов предложил построить в Пустозерске часовню. Он верил, что она станет близкой и родной старообрядцам всех согласий.

– В будущем, возможно, около часовни возникнет старообрядческий монастырь со специальной библиотекой, где найдут пристанище молодые силы старообрядчества, направленные на благую цель служения заветам наших прадедов. И, кто знает, может быть, далёкий теперь городок Пустозерск в будущем явится для всего старообрядчества центром религиозно-духовной жизни и мысли. Сам протопоп Аввакум пророчески говорил, что из каждой золотки сгоревших на кострах ради правды Христовой восстанут миллионы верующих.

События 14 апреля 1682 года стали одной из ключевых вех отечественной истории, но прошли мимо отечественной историософии. Двуперстие стало символом русской самостоятельности и духовной свободы.

И в советские годы уже другие люди всё равно пытались сохранить память об аввакумовском костре. Малышев воплотил свою идею, которую высказал в короткой статье в “Советской России”. Не стало Пустозерска, занесло его песком, а небольшой обелиск был всё-таки установлен. “Городок” обрёл сакральное значение. Люди продолжали сюда идти. Не памятник притягивал их, но само это место, освящённое страданиями праведников.

Нравится мне один рассказ у Фёдора Абрамова, он называется “Из колена Аввакумова”. Рассказчик попадает в Койду, поморское село в Архангельской области, за которым водится недобрая слава. Мол, живут здесь “икотницы”, способные насыпать порчу. Ему встречается древняя старуха, сидящая на бревне у дороги. Они знакомятся. Её зовут Соломея, или, по-местному, Соломида. И она повествует приезжему, как жила. Перед нами обычный для Абрамова ход и ещё один тип русской праведницы. В юности у неё отнялись ноги, помог только совет односельчанки: “сходить в Пустозерье к святому великомученику Аббакуму, кресту евонному поклониться”. Шесть дней нужно молиться без отдыха, с понедельника до субботы, потом выспаться, а наутро – в дорогу. Ради такого подвига даст Бог ноги. Добиралась она зимой с обозами, сначала до Пинеги, где есть ярмарка, там кто-нибудь из приезжих авось да подскажет дальше путь в Пустозерск. “Мужики звёзды в небе ищут, по звёздам едут, а я крестом себе дорогу освещаю. Пальцы в рукавице в крест двуперстный зажала, да так с крестом истинным и прошла взад-вперёд”. Добрела Соломида до Пустозерска, поклонилась кресту и вернулась назад. По сюжету это двадцатые годы. Потом она вышла замуж, родила дочь, чудом спасла от смерти мужа. И за ней закрепилась дурная слава, дескать, ведьма она. Затем её уекли в лагеря, поскольку “ведьма” отказывалась работать в колхозе по воскресеньям. Но и неволя её не сломила. Ей было у кого просить о помощи: “Попервости в погреб (карцер. – **В. Б.**) этот впихнут – зуб на зуб не попадает. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. А потом раздумую: а слово-то Божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом Божьим обогрелась”.

Кончилось тем, что Соломиду отпустили на все четыре стороны досрочно. Выходя из карцера, она каждый раз благодарила начальника лагеря и каждый раз кланялась в ноги: “А то, говорю, улыбаюсь, что страдания дал, дозволил мне с Господом Богом наедине побыть”. Настал день, когда он махнул рукой: “Доконала ты меня, бабка. Не хочу, чтобы ты от моих рук смерть приняла.

Убирайся с глаз долой. Чтобы духу твоего здесь не было”. “Да, бабушка, – подытоживает рассказчик, – не жизнь у тебя, а целое житие”.

Соломида опирается на очень “простую” житейскую философию: “Нет греха спать со своим мужиком. Грешно прелюбы творить да в страстные дни сходиться, а в остатнее время Божий мир любовью держится. Всё Божьим словом да верой держится. Божьим словом людей на ноги ставят, со смертного одра поднимают”; “Молитва – первое дело. Изю всех работ работа. Сила да разум каждый день человеку нужны, а без молитвы откуль их взять?” У неё одно желание и одна просьба к Богу – чтобы не дал умереть “с коростой клеветы бесовской”. Икотницы перед смертью целыми днями кричат. Она же отошла тихо, на глазах у знакомых старух. “Святая меж нас жила”, – только тогда поняли они. . .

Долг памяти ведёт рассказчика на могилу Соломиды в Койде: “. . . И я долго стоял у песчаной могилы со свежим, ещё не обветренным сосновым столбиком, на котором не было ни единой буквы, ни единого знака”. Но только ли долг памяти? Кроме него – что-то ещё иное, святое и невыразимое. . .

В 1914 году во втором, январском номере старообрядческий журнал “Церковь” напечатал заметку об этом селе. Минувшим летом на здешний храм подняли кресты, совершили по этому случаю молебен. “Народу на торжестве было очень много, особенно никониан, которые очень интересовались как службой, так и чином поднятия крестов”. В Койду приехал из Нижегородской губернии овдовевший священник Хрисанф Кардюков. Журнал опубликовал его портрет: на нём мужчина в подряснике лет пятидесяти с длинными волосами, падающими на плечи, расчёсанными прямым пробором по центру, с не очень длинной чёрной бородой, высоким лбом. Черты лица немного грубые, я бы сказал, крестьянские, без семинарского лоска. Пройдёт пятьдесят лет, в Койде будет жить Соломида и её сверстницы, а потомки разъедутся по городам. Но и ныне старинное это село на берегу Мезенского залива не исчезло с карт, и всезнающий интернет говорит, что по переписи 2010 года здесь живёт 427 человек. . .

Старовер Ломоносов

Старообрядчество и русская литература – тема неохватная; начинаясь с аввакумовского “Жития. . .”, с соловецких челобитных, она идёт, не прерываясь, дальше, вплетаясь в литературу чисто светскую. Старообрядческая тема не слишком звонкой нотой, однако звучит вскользь у Кантемира, у Ломоносова, у Радищева. . . В XIX веке она будет раскрыта другими писателями куда шире.

Сближение Ломоносова, ещё отрока, со старообрядцами было, и этот факт отмечен многими его биографами, но, как заметил в своё время замечательный филолог Евгений Лебедев, “мы не знаем, как далеко и насколько глубоко оно распространилось”³. Можем только предполагать.

Старообрядцами были ближайшие родственники Ломоносова, его отец – нет. Есть гипотеза, что знакомство с виднейшим старообрядческим деятелем Андреем Денисовым, учеником Киево-Могилянской академии, автором “Поморских ответов”, привлекло его на какое-то время в монастырь на Выг. Это было в отроческом возрасте, когда будущий основатель Московского университета с особой остротой тянулся к знаниям. Указываются разные даты: в тринадцать лет, в пятнадцать лет. В монастыре Ломоносов пробыл года два. Он отошёл от старообрядчества, высказывался о нём весьма нелестно. Есть у него, например, “Слово похвальное блаженной памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года”. В нём в духе тогдашних идеологических установок старообрядцы выставлены врагами государства наравне со шведами, турками и поляками: “Таковыя противности воспящали Герою нашему в славных подвигах! Коль многими отвсюду окружён был неприятелями! Извне воевала Швеция, Польша, Крым, Персия, многие восточные народы, Оттоманская Порта, извнутри – стрельцы, раскольники, козаки, разбойники”⁴.

В 1986 году, обобщая всё, написанное по этой теме, питерский историк и археограф Николай Юрьевич Бубнов предпринял попытку обосновать мысль о том, что окончательный разрыв Ломоносова со старообрядцами произошёл

уже в Москве, что именно выговские жители снарядили его учиться, надеясь, что светское образование не повредит, как не повредило оно Андрею Денисову, а, напротив, даст им ещё одного незаменимого человека: “Не будет слишком смело предположить, что “впавший в жестокий раскол” молодой Ломоносов был рекомендован и послан своими новыми друзьями-старообрядцами на учёбу в заиконоспасские школы с тем, чтобы по возвращении на родину во всеоружии знаний войти в число руководителей местного старообрядчества. Такое предположение помогает удовлетворительно объяснить уклонение юного Михайлы от церковного брака (Федосеевцы, как известно, отвергли институт брака), добровольный уход с родины без родительского благословения и нужных документов. Вполне вероятно также, что старообрядцы снабдили посланного ими на учёбу юношу не только деньгами на первое время жизни в Москве, но и фальшивыми документами, позволившими ему выдать себя за поповского сына или даже за дворянина”⁵.

Но, как часто бывает, “что-то пошло не так”. Ломоносов не вернулся назад. Всё, что связано со старообрядчеством, он старательно скрывал, как будто вымарывая этот короткий период в пару лет из своей биографии, чтобы и следа не осталось.

Отроческие годы русского учёного в Выговском монастыре отображены в романе М. К. Попова “Ломоносов: Поступь Титана” (“Роман-газета”, № 19 за 2011 год). С первых строк здесь появляется белица, которая тонкой кисточкой рисует что-то “разноцветной вапой” (краской) на листе пергамента. “Лицо её по брови повязано льняным повойником”. Повойник, как правило, носили замужние женщины, это шапочка, “повязать” её “по брови” невозможно, можно только надеть. Иногда повойник подвязывается сзади двумя лентами, которых не видно из-под платка. В мужской Выговский монастырь был категорически запрещён вход женщинам, и каким бы исключительным художественным даром эта белица ни обладала, она могла бы сюда прийти разве что для свидания с братом или отцом. Поморскую орнаментальную заставку сделал бы любой инок, труженик выгорецкого скриптория... У юного Михайлы в романе губа отнюдь не дура: он так возле этой белицы и вертится, растирает краски, сам пытается листочек разрисовать. А едва оказавшись за стенами монастыря, собирая с Офонасием “красовитые камушки” для получения краски, гоняется за голой саамкой, ломая кусты, “ровно топтыгин”. Малый он уже опытный, “девок деревенских, бывало, щупал, и они валяли его”. Но сюжет в итоге сводится к глупой современной песне: “А когда я её обнимаю, всё равно о тебе вспоминаю”. Всё Текуса, та самая белица, ему мерещится. А её, как выясняется после возвращения в монастырь, подальше на Лексу отправили, “доступ туда особам другого пола заказан, и пути назад оттуда нет” (это почему же?). Тут как на грех ещё лубок подвернулся Ломоносову на глаза: картинка, как мыши кота хоронят, с намёком на Петра Первого. Кот, понятно, император. И Михайла вскипел: лист разорвал, ругаться стал, да дёру из монастыря. И всё то ли из-за бабы, то ли из-за кота — поди разбери.

Хорош у нас “титан”! За девками гоняться — нормально. Но “срамная” картинка вызывает приступ такой бешеной ярости, что Ломоносов бежит прочь сломя голову. Лишь под конец первой главы мы узнаём, что Выговский монастырь — “раскольный”. Если кто не в курсе, не поймёт. И уж если придавать такое внимание словесному узорочью — “синь-лазорь”, “черниловка”, “вапа”, “закодолить”, “блазниться”, “лепо”, “потай”, “зеленастей” (вместо “зеленее”) и пр. — не худо бы помнить, что не говорят старообрядцы “Псалтирь”, а только “Псалтырь”, и иного не принято... К примеру, Фёдор Гладков уж на что коммунист-атеист, но это знает, у него и в “Повести о детстве” и в “Вольнице” это слово всегда одинаково через “ы” пишется. Сразу видно, из староверческой семьи вышел человек. Странно или нет, но и корректоры это не правят.

Молодой Ломоносов предстаёт в странном, искорёженном водевильном виде. Это не будущий учёный, а похотливый юнец, которого вынудил оставить монастырь случайный импульсивный поступок. Культурное, экономическое, духовное значение Выга для Поморья и вовсе прошло мимо автора, характеры выговских насельников не заинтересовали, само пребывание Ломоносова здесь не оказывает никакого влияния на его становление. Ну, разве что тут, на Выге, впервые заинтересовали его минералогия и живопись... Через несколько страниц он точно так же будет “строить куры” фройлен Лизхен в Марбурге. О выговской белице уж не осталось и памяти.

В такого рода прозе нет или же недостаёт главного, ради чего она в общем-то и пишется: нет анализа жизни, минувшей или настоящей, и человеческих отношений. Нет того русского характера, который, не гнушаясь, не отбрасывая впитанный с детства, с отрочества, с коротких монастырских лет тот самый “подкопытный” язык, затем вплетает его в собственную теорию “трёх стилей”, берёт свободно и властно “немецкого малость”, осваивает европейскую учёность и остаётся самим собой, нет объяснения, какими силами, благодаря чему это поморскому юноше удастся...

“Наших прадедов Бог по-иному ковал...”

В нижегородском журнале “Старообрядец” за 1907 год в апрельском, четвёртом номере появилось любительское стихотворение Петра Ивановича Власова. Кто он такой, скажу чуть ниже. Оно было приурочено к 225-й годовщине гибели Аввакума.

*Он погиб за великое дело —
За преданья родной старины,
Защищая свободно и смело
Веру праотцев русской земли.*

*Повинуясь законам лишь Бога,
Отступникам карой грозил,
И в силу великого долга
Их могучею речью разбил.*

*Не боясь ни богатых, ни сильных,
Он за веру Христову стоял,
Он в речах своих, верой обильных,
На духовную жизнь призывал.*

*И за эту глубокую веру,
За большую любовь к старине
Уподоблен он был изуверу
И врагами сожжён на костре.*

*Так погиб этот славный подвижник,
Постоявший за совесть людей,
И погиб, как великий защитник,
Кончив жизнь от руки палачей.*

В 1932 году небольшой листок бумаги со столбиком этих четверостиший будет изъят сотрудниками ОГПУ при обыске у старообрядческого епископа Викентия (Никитина). Имя автора не всплывёт. Его забыли. Стихотворение стало песней. Рукопись, с которой довелось мне ознакомиться несколько лет назад, отличается от опубликованного текста, но не слишком сильно: “он страдал” вместо “он погиб”, “могучею речью язвил” вместо “разбил”. Это естественно: авторское стихотворение перешло в область фольклора, а фольклор вариативен. Последние две строки в каждой строфе должны повторяться два раза, в рукописном тексте сделана соответствующая пометка. Эти стихи пели.

Пётр Иванович Власов — сын священника Иоанна Власова, хранителя книжного собрания Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища, большого знатока старой книги, умершего обидно рано, в 1910-м в пятьдесят лет. Ныне оно, это собрание, в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Этот стихотворный опыт был у его сына, тогда четырнадцатилетнего подростка, едва ли не единственным. Пётр Власов публиковал в старообрядческой периодике исторические документы, кое-что успел до революции выпустить отдельными сборниками. Окончив школу и реальное училище, он поступил в 1911 году в Московский коммерческий институт (в советские годы — Институт народного хозяйства им. Плеханова), но не окончил

его. Увлёкшись древностями, редкими книжными памятниками, работал в антикварном книжном магазине библиографом. Затем, уже после революции, сменил несколько работ, но главной его профессией стало библиотечное дело. В январе 1930 года Власов устроился в Центральную библиотеку Наркомречфлота. Во время Отечественной войны вместе с книжным фондом был эвакуирован в Ульяновск. В декабре 1942 года был назначен директором Центральной научно-технической библиотеки. После переименования Наркомречфлота в Министерство речного флота остался в прежней должности, в июле 1948-го ему было присвоено звание старшего лейтенанта административной службы. На позднем фотоснимке он изображён гладко выбритым, с короткой щёткой усов между носом и верхней губой, в круглых очках на широкой переносице...

С 1940 года и до самой смерти Пётр Власов переписывался с Владимиром Малышевым. Отдельные его письма опубликовала историк-любитель Вера Анисимова на страницах сборника «Старообрядчество: история, культура, современность» в 2011 году.

В десятом выпуске «Трудов Отдела древнерусской литературы», который вышел в 1954 году, Владимир Малышев напечатал «Библиографию сочинений протопопа Аввакума и литературы о нём 1917–1953 годов» и упомянул о Власове: «Во время работы над этим указателем в Москве (Рогожская застава) умер персональный пенсионер Пётр Иванович Власов (24.1.1893–16.X.1953), большой знаток старообрядческой литературы, много помогавший мне при собирании сведений об Аввакуме и, в частности, при составлении этого библиографического обзора»⁶.

Удивительная судьба выпала робким, простым, нескладным, однако искренним строкам подростка-старообрядца! В литературоведческих работах по XIX веку встречаешь иногда клише: «ходили в списках». Речь о стихах или статьях, не пропущенных, запрещённых цензурой. «Ходило в списках» письмо Белинского к Гоголю, пушкинская ода «Вольность», его же «Деревня». Власов так и не узнал, что где-то в Ессентуках сидел, склонившись над письменным столом, следовательно ОГПУ и читал его мальчишеские вирши, которые тоже стали «ходить в списках». В контексте того антирелигиозного времени они обрели особенный смысл, задавая образец поведения.

Своеобразие дилетантских строк Власова с его неточными и глагольными рифмами и совсем ненужной последней строкой в том, что они эмблематичны, выглядят, как развёрнутый текст, который словно бы сопровождает и поясняет некое изображение: портрет Аввакума, репродукцию картины, где он изображён, и т. п. Старообрядческий автор полностью абстрагируется от «Жития...». Профессиональные поэты – Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин, Варлам Шаламов, Арсений Несмелов, Николай Новиков, Виталий Гриханов – отталкиваются в той или иной степени именно от литературного памятника, перерабатывают и по-своему трактуют его образы, сюжеты. Но все они, и Власов тоже, стремятся дать оценку тем ценностям, ради которых жил и погиб мятежный протопоп...

Епископ Викентий получил в 1932-м десять лет. Он обвинялся в «создании и руководстве Северо-Кавказским филиалом Всесоюзной контрреволюционной организации старообрядцев», подготовке антисоветского восстания, шпионской деятельности в пользу Румынии, в распространении антисоветской литературы, агитации против вступления в комсомол и колхозы. Через год его по болезни освободили досрочно. Второй раз арестовали в 1938-м в Москве и до смерти забили при допросе.

То была эпоха, когда снова потребовалась аввакумовская воля и аввакумовская непреклонность. Не случайно созданное в Ленинграде в середине 1920-х годов старообрядческое братство названо было именем протопопа Аввакума. Его непосредственный организатор и руководитель епископ Геронтий (Лакомкин) арестован был тоже в 1932-м в один день с Викентием. Тогда ему исполнилось шестьдесят. Свои десять лет он отбыл в лагерях полностью, причём ни разу не нарушив постов, и на свободу вышел в самый разгар войны...

Отечественная художественная литература, где отражён образ мятежного протопопа, – это объёмный, практически неподъёмный пласт, его не так просто «взрыхлить» литературоведческим «плугом». Даниил Мордовцев, старообрядческий епископ Михаил (Семёнов), Алексей Чапыгин, Всеволод Никано-

рович Иванов, Фёдор Абрамов, Владимир Личутин, Владислав Бахревский, Дмитрий Жуков, Елизар Мальцев, Николай Коняев, Глеб Пакулов, едва не погибший вместе с Александром Вампиловым на Байкале, когда их лодка наполнилась на топляк... В череде больших произведений вспомню ещё затерянную ныне на страницах сборника "Ока" 1990 года маленькую и очень симпатичную миниатюру калужского писателя Александра Козловского "Паучина"... Поэзию не беру нарочно. Сопоставлять всех авторов в одной статье я, конечно, не ставлю своей целью. Коротко коснусь эмигрантской литературы — только двух авторов, оказавшихся в изгнании. Их сблизило с Аввакумом собственное страдание и утрата.

Иван Лукаш написал небольшие, удивительно проникновенные очерки "Потерянное слово" об Аввакуме и "Боярыня Морозова", и, мне кажется, вряд ли ему бы это удалось, останься он на родине, когда всё вокруг благополучно и собственная жизнь вполне удалась: "В Аввакуме, в боярыне Феодосии Морозовой и в других мучениках раскола не их тёмные ошибки, не иступлённость, даже не железное их упорство в страданиях поражает потомка, а именно это чужие гибели Руси, невымоленного Дома" ("Потерянное слово"). То же самое ощущал тогда и он сам, и многие другие, когда после 1917 года ушла навсегда бывшая императорская Россия — в историю, в глубокую память, в "тёмные аллеи" дорогого прошлого... Лукаш подметил одну важную особенность "Жития...": "Как-то не замечали, что простая повесть Аввакума о невыносимых страданиях, застенках, пытках и ссылках — улыбающаяся повесть". Аввакум как будто посмеивается над своими испытаниями. "Он — выше их. Он с ними шутит". Тем же светом светел рассказ Фёдора Абрамова "Из колена Аввакумова" и жизнь его героини. Это потому, что люди знают, ради чего жить и ради чего умирать.

Арсений Несмелов сравнивает два разных поколения, уже не детей и отцов, а внуков и дедов. Образцом человеческой цельности становится для него именно Аввакум. Она оказалась особенно востребованной, да и всегда будет самым востребованным человеческим качеством в эпоху, когда распадается связь времён.

Он перечитывает "Житие...". Я — его "Протопопицу".

*Наших прадедов Бог по-иному ковал,
Отливал без единой без трещины, —
Видно, лучший металл Он для этого брал,
Но их целостность нам не завещана.*

*Их потомки — не медь и железо, а жость
В тусклой ржавчине века угрюмого,
И не в сотый ли раз я берусь перечесть
Старый том "Жития..." Аввакумова.*

Чтобы остаться самим собой, необходимо отыскать веру и идею, ценность которой была бы выше любых земных благ, тот смысл бытия, который не завершается со смертью в отмеренных каждому человеку земных координатах. Именно здесь откроется тогда загадка и значимость человеческой цельности. У Несмелова целое поколение её лишено. Она "не завещана", что-то разомкнулось в преемственной цепочке времён и поколений. Что и почему? Какое звено выпало? В поисках ответа брали в руки "старый том" не только авторы, оказавшиеся на чужбине, но и те, кого с Аввакумом объединил один страдальческий путь, одно родство "хождения по мукам"...

*Наш спор — не духовный
О возрасте книг.
Наш спор — не церковный
О пользе вериг.*

*Наш спор — о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Вязать и решать.*

Конечно, Варлам Шаламов, “Аввакум в Пустозерске”.

Предметный ряд первого четверостишия со всем материальным (книги, вериги) отрицается и сменяется во втором целым комплексом идейных постулатов.

Удивительно и с другой стороны совершенно неудивительно, как этот Аввакумовский путь — до самого костра — объединил столь разных русских людей, изгнанников и оставшихся на родине мучеников. Объединил потому именно, что не был пустым результатом упрямства. Фанатизм — феномен последних атеистических столетий. Он несвойственен ни древнеримским мученикам, ни русским страдальцам за веру. Как подчёркивал уже на излёте советских лет академик Александр Панченко, “древнерусский человек, в отличие от человека просветительской культуры, жил и мыслил в рамках религиозного сознания. Он “окормлялся” верой, как насущным хлебом. В Древней Руси было сколько угодно еретиков и вероотступников, но не было атеистов, а значит, и фанатизм выглядел иначе” (“Боярыня Морозова — символ и личность”).

*Но к Богу дорога
Извечно одна:
По дальним острогам
Проходит она.*

Пустозерский костёр превращается в экзистенциальный символ, за которым возникают вопросы о смысле жизни и предназначении человека. О выборе пути. Надо ли идти этой дорогой, если в конце будет огненная точка, а за ней небытие? И что в результате, если пройдёшь и претерпишь?

*Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца.*

Обычный человек из кожи и костей, с желудком, печенью и селезёнкой — всё как у всех — становится вдруг человеком-идеей. Пусть стучит этот пепел.

В этой способности отзываться в поколениях — секрет памяти и залог её бессмертия.

В кривом зеркале отвлечённой философии

Аввакум и старообрядцы отстаивали идею преемственности русского взгляда на церковное устройство, освящённое Стоглавым Собором. Отсюда совершенно особое место в русской историософии обретает это событие 1551 года, отринутое церковными реформаторами. “Ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков”. Что протопоп Аввакум проявил себя как последовательный русский националист, обратил внимание уже в советские годы писатель Всеволод Никанорович Иванов. То же, как и Арсений Несмелов, эмигрант (впрочем, вернувшийся потом из Китая; есть версия, что разведчик). Его очерк “Оправданный Аввакум” входит в сборник “Огни в тумане: Думы о русском опыте”, увидевший впервые свет в Харбине в 1932-м. В нём такие слова: “Причина этого двухсотпятидесятилетнего пренебрежения к страданиям протопоба Аввакума со стороны русского общества лежит в том, что протопоп Аввакум не был революционером. Более того. Он был страстным убеждённым русским националистом (разрядка Вс. Н. Иванова. — **В. Б.**). Вот почему имя его отсутствовало до сих пор в синодиках русской общественной истории”. Потрясения всегда заставляют обернуться назад. Смотреть не в будущее, а в прошлое: “Мы видим, что, в противность настоящему, в прошлом мы имели крепкое, сильное слаженное государство, и это преисполняет нас уважением к тем деятелям этого государства, которые его создали, и тем, кто держал тогда высоко стяг русского национального дела”.

В относительно недавние годы литературоведы старались разрешить вопрос: русская советская и русская эмигрантская литература — две разных литературы или одна? Бравурный ответ — конечно, одна! И он правильный. Только с оговоркой. Как уточняет филолог Алексей Чагин, “достаточно полным ответом, учитывающим всю непростую диалектику взаимодействия двух потоков русской литературы в 1920–1930-е годы, могла бы стать “формула”: *одна литература и два литературных процесса*”⁷. Можно назвать нескольких писателей, так или иначе причастных к старообрядческой среде, из неё вышедших (и, несмотря на это, совершенно не похожих друг на друга): Михаил Пришвин (мать старообрядка), Николай Клюев, Сергей Клычков, Пимен Карпов, Фёдор Гладков, Афанасий Коптелов, Елизар Мальцев, Борис Шергин, Исая Калашников, драматург Степан Лобозёров... Между ними нет никакого родства “по старообрядческой линии” — ни мировоззренческого, ни художественного. И собственно старообрядческой, обособленной художественной литературы в современном понимании тоже нет, если не считать отдельных любительских, даже вполне удачных рассказов и стихотворений на страницах старообрядческой периодики начала XX столетия. Есть духовная литература: апологетика, есть сатирические стихи в жанре райка, фольклор: духовные песни, стихи, канты, есть церковно-общественная публицистика. Есть труды выговских насельников, “Поморские ответы”, богословские работы святителя Арсения (Швецова), Илариона Кабанова, огромный корпус статей епископа Михаила (Семёнова), Фёдора Мельникова, Никифора Зенина, Ивана Кириллова... Но здесь уместен тот же вопрос: что это, русская духовная литература или уже литература какого-то другого, особого народа?

Это тоже часть единой литературы, её особый поток. Она должна изучаться наравне и в параллели с другими видами апологетической и духовной литературы.

Что такое старообрядческая история? Это история отдельного народа? Нет же, единая русская. Но в то же время особый и отдельный “исторический процесс”, текущий где-то в стороне от магистрального “казённого” Православия, а потому не изучаемый как следует, отброшенный на научные задворки, почти маргинальный. Но если мы ещё русские, для нас в нашей истории не должно быть несущественных записей на её полях. Оба процесса — литературный или исторический — нужно изучать параллельно в их сопоставлении. А это означает необходимость нового методологического подхода к истории отечественного Православия.

Один пример, что получается, если делать наоборот. Представим: сидит у себя в редакции газеты “Русь” Иван Сергеевич Аксаков. Он видится мне таким, каким изображён на фотографии А. И. Денъера: очки в тонкой оправе, окладистая борода, от нижнего края жилетки куда-то в боковой карман спускается цепочка, — должно быть, часы. Редактор склонился над рукописью, стол завален бумагами. Фотограф запечатлел его, наверное, в домашней обстановке, и в рабочем кабинете не было того круглого журнального столика с высокими ажурными ножками, на который Иван Сергеевич положил левую руку, не было кресла с длинными тесёмками бахромы и низкой спинкой, с короткими подлокотниками и свисающими вниз кисточками. Это парадный “антураж”. Представим ещё книжный шкаф, как на заднем плане снимка. Почему бы ему не быть и в редакции московской газеты.

Открывается дверь.

Входит “юноша бледный со взором горящим”.

— Здравствуйте, Иван Сергеевич! Я принёс вам статью.

— Что у вас, Владимир Сергеевич, на сей раз?

— “О церкви и расколе”. Вот.

— Ого!

Конечно, наверняка всё было вовсе не так. Но Аксакова настолько воодушевил новый труд начинающего философа, способного в свои неполных тридцать лет оригинально и самостоятельно мыслить, что он написал к его статье пространное послесловие.

В сентябре 1882 года в “Руси” был опубликован цикл В. С. Соловьёва “О церкви и расколе”. Позднее он был переработан им в статью “О расколе в русском народе и обществе”. Последняя часть увидела свет 2 октября, и в том же номере И. С. Аксаков поместил свой отклик “По поводу статьи В. С. Соловьёва “О церкви и расколе”.

Эта соловьёвская статья примечательна.

Она начинается словами о том, что истинная сущность Церкви связана с её вселенским характером. Тут не поспоришь. Соловьёву особенно дорого понятие “кафоличность” (т. е. вселенский, надвременной и наднациональный характер Церкви). “Раскол” якобы подменяет кафоличность размытыми понятиями старины или “отеческого предания”, удаляясь от “божественного содержания”, растворяя широкие врата всякому человеческому произволу и мудрованию”. Но что такое “раскол”? Понятие, которым публицист постоянно оперирует, размыто и неопределённо. В “расколе” Соловьёв видит два “основных разветвления”: староверие с “поповщиной” и “беспоповщиной” и, как он пишет, “свободное сектантство”. Церковную кафоличность отрицают и те, и другие, каждый по-своему. Староверие распространялось в умственно неразвитой среде, а потому неизбежно должно было принять “грубые и невежественные формы”. Избитый миссионерско-охранительный взгляд, ничего нового. Если с ним согласиться, получится, что дониконовская русская Церковь не обладала никакой кафоличностью, так как там национальное начало взяло верх над вселенским, и никонианская реформа, получается, как раз внедряла эту самую кафоличность, а значит, была несомненным благом. И “свободное сектантство”, и старообрядцы сходятся у Соловьёва при всех различиях в том, что для них “совсем не существует Церковь как целое, Вселенская Церковь, независимая ни от места, ни от времени, не исчерпываемая ни настоящим, ни прошедшим”. Соловьёв перечисляет эти сущностные признаки кафоличности, и ему кажется, что национальная традиция стирает, уничтожает, нивелирует их. (Что одно другому не мешает, как раз подчёркивал в 1914 году старообрядческий писатель и публицист Ф. Е. Мельников на диспуте “О сущности старообрядчества” в Политехническом музее.)

Отличительная особенность соловьёвской статьи – полное игнорирование старообрядческой литературы. Она не упускала из виду понятие о кафоличности, для этого достаточно обратиться хотя бы к некоторым старообрядческим сочинениям. Люди другой эпохи, авторы “Поморских ответов”, заявляли в своё время прямо противоположное русскому филологу: “Как древлеправославные россияне, прадеды и отцы наши и святые российские чудотворцы, пребывая с теми же древлецерковными уставами, служили Богу по староцерковным книгам, *пребывая во святой православной кафолической Церкви*, так и мы, с тем же древлецерковным святоотеческим содержанием оставаясь, пребывать надеемся в той же святой *древлеправославнокафолической Церкви*” (курсив мой. – В. Б.)⁸. Кто же здесь подменяет кафоличность стариной? Кто же утверждает приоритет национального или, по Соловьёву, “человеческого начала”, которое доминирует над Божией правдой? Старообрядческая апологетика, неведомая философу, отстаивает эту кафоличность как великую ценность. Сущностная особенность старообрядческого мировоззрения именно в том и заключается: не мы, сторонники дониконовских чинов и последований, старого церковного уклада, откололись от Церкви, мы, напротив, остались прежними. Мы никуда не ушли. И доказательству этого тезиса посвящено всё содержание “Поморских ответов”.

Соловьёв умаляет значение церковного предания, сводит его к “местным русским обычаям”, которые, по его мнению, закрепил Стоглавый Собор.

“Вселенская истина исчезла здесь перед народным обычаем, который выдавался за вселенскую истину, – пишет он, – важно то, что на место Божьего и всемирного вдруг явилось своё, отдельное”. Это было “началом болезни”, её вызвали суровые действия церковных властей. “Но если правители церковные иногда неправо действовали, то раскольники неправо мыслили”⁹. Во как завернул! А что тут лучше, что хуже, действовать или мыслить, и разве не мысль определяет действие? Утверждаясь на отеческом предании, старообрядцы-де забывали, что “отцы их были такие же люди, как и они, и что, следовательно, отеческое предание *само по себе* есть лишь *человеческое предание* и, как такое, не может иметь высшего божественного авторитета”¹⁰. Божественное значение, по Соловьёву, имеет не “частное предание” (национальный обычай), а предание “вселенское, или кафолическое”, которое “священно не по временной старине и не по человеческому обычаю, а по своему божественному происхождению и вечному значению”¹¹. Дело не в предании, а в его кафолическом характере, заключает он.

Но в том-то и суть, что старообрядцы, Аввакум, в частности, и его союзники отстаивали как раз не народный, не национальный церковный обычай или обряд, а *апостольское* (выделю это) предание, каким было, например, двуперстное крестное знамение. Это подчёркивали старообрядческие апологеты разных, далёких друг от друга времён. Эта мысль красной нитью проходит и в “Поморских ответах”, и, например, у епископа Арсения (Швецова) Уральского и Оренбургского в его книге “Оправдание старообрядствующей Христовой Церкви”. Преданию у него посвящена здесь отдельная глава. Церковь – не только иерархия, это ещё верный и благочестивый народ, пишет он. Отменять апостольские предания ни народ, ни иерархия, никакой Собор не имеют права. В том и дело, что апостольское предание несёт в себе вселенскую (кафолическую) истину.

“Оправдание...” сошло с типографского станка за границей, нелегально, на пять лет позже соловьёвской статьи. Но это всё равно произведение одной (подчеркну) эпохи. “Поморские ответы” издал отдельной книгой епископ Арсений в 1885-м, но при желании можно было изучить их по старинной рукописи, обратившись к сведущим людям. Аксаков обзавёлся ими в своё время, потом подарил Хомякову, так толком и не прочитав. Проблема публикации старообрядческих памятников была уже обозначена, и работы первых апологетов XVII века издавал Н. И. Субботин. Соловьёв не упоминает, повторюсь, ни одного старообрядческого сочинения, ни посланий, ни челобитных, ничего... Он их и не знал. Он нашёл особый историософский ракурс, но опирался на избитые и расхожие миссионерские охранительские клише (одно из них – априорная виновность старообрядцев- “раскольников”), не сумел от них уйти.

Ложная методология повела в тупик и Соловьёва, и Аксакова. А это не второстепенные публицисты и тот, и другой. Ошибкой было заданное идеологическое устремление обличить одних, обелить других.

Чтобы понять русское Православие, трагическое разделение единого народа, церковную трагедию XVII столетия, необходим надёжный компас. Без него нельзя ориентироваться в русском океане, невозможно его измерить. Я повторю слова о необходимости параллельного, сопоставительного изучения русской церковной истории, ново- и старообрядческой. Всё это наше.

Не бойся быть русским

Мне вспоминаются слова одного второстепенного героя из “Жизни Клима Самгина”, Безбедова: “И не воспитывайте меня анархистом, – анархизм воспитывается именно бессилием власти, да-с! Только гимназисты верят, что воспитывают идеи. Чепуха! Церковь две тысячи лет внушает: “Возлюбите друг друга”, “да единомыслием исповеваемы”, – как там она поёт? Чёрта два – единомыслие, когда у меня дом – в один этаж, а у соседа – в три!” А ведь он прав.

Меня однажды спросили: какие перспективы у старообрядчества? Я не знаю. А какие “перспективы” у христианства вообще, играет ли оно в обществе, в конфликте бедных и богатых какую-то роль?..

Перспективы у того, кто сгладит эти социальные противоречия. Кто поставит себе целью преодоление человеческого небратства. И, как хотите, эта задача, её решение лежит в том числе через преодоление материального неравенства. Чтобы вступить в общину, первые христиане продавали земли и клали вырученные деньги к ногам апостолов. Вспомним историю из пятой главы “Деяний” об Анании и Сапфире, утаивших часть имущества для себя. Они внезапно умерли. Их поступок толкуется как грех лжи по отношению к Богу. Иоанн Златоуст добавляет к нему сребролюбие и “принятие сатанинских желаний”, увеличивая тем самым его тяжесть втрое. Но почему-то понятие это – небратство, небратолюбие – всегда куда-то ускользает из церковного лексикона. Пока Церковь служит кесарю, а кесарь – своим “друзьям”, не Богу и не России, а “суете своей”, никаких перспектив у неё нет.

– Ну, ладно. Братство. Да. Об этой абстрактной идее можно рассуждать очень долго и пространно. А что сейчас-то делать, вот прямо здесь и сейчас? Я тоже задаю себе этот вопрос.

Есть одно дело, которое по силам всякому.

Повествуя о своих мытарствах и ссылках, Владимир Короленко написал рассказ “Яшка”. В коридорах очередной тюрьмы герой видит на дверях несколько табличек с надписью “умалишённый”. Ему отводят камеру по соседству с одним таким безумцем. Как только в коридоре слышатся шаги надзирателя, а тем более начальства повыше, он начинает стучать. Рассказчик знакомится со своим странным соседом по имени Яшка. Старообрядцем он прямо не назван, “он был сектант, приверженец “старого прав-закону”. В неволе он оказался не за веру, не за отказ креститься щепотью, а за неуплату земских повинностей. Он считал, что платить земству всё равно, что воздавать антихристу: подчиняться надлежит только государю, больше никому. “С шестьдесят первого года, — поясняет Короленко, — мир резко раскололся на два начала: одно государственное, другое — гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе отрицал всецело без всяких уступок. Над первым он водрузил осьмиконечный крест и приурочил его к истинному прав-закону. Второе назвал царством грядущего антихриста”. В его взглядах на устройство власти на земле всё спутано, но остаётся одна непреложная истина и мерило — царь, святость монархического начала.

Однако дело в другом. Яшка одержим особым служением — обличать неправедных начальников, чиновников, “антихристовых слуг”, как он их называет, от обычного надзирателя до губернатора, и способ один — стучать в тюремную дверь. Он видит в своём стуке особую миссию и торжество над “беззаконниками”. И вроде бы нет в нём никакого смысла, в этом грохоте. Но для Яшки есть. “Не подвержен я антихристу”. “За великого государя стою...” За олицетворенную в монархической идее высшую правду... Яшка при этом даже и не знает, как этого государя по имени зовут. Важнее, что он есть, что существует это сакральное начало на земле. Для рассказчика он не безумец, он подвижник. В конечном счёте, его увозят из острога в дом сумасшедших, но при появлении тюремного начальства другие заключённые начинают точно так же колотить в двери...

Подобное свидетельствование о неправде, которое в рассказе “делегируется” странному “сектанту”, и есть, по-моему, одна из задач Церкви в земных делах. Яшка потому и берёт и, главное, справляется со своей миссией, что поставлен вне церковно-эатических отношений. Пустозерский колокол, подвешенный на памятном поклонном кресте на стыке вертикальных и горизонтальных его перекладин, над символическим срубом из нескольких коротких брёвен, должен звонить в обличение творящихся на земле беззаконий. И не только он один.

Другая задача — утверждение русского самосознания. Мелкими делами, везде и всюду. “Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не унижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах” (Аввакум)... Хватит унижать себя. Неудивительно, что такие стихи, как “Не бойся быть русским — не трусь, паренёк”, пишет поэт со старообрядческими корнями и со “знаковой”, как принято говорить, фамилией — Мария Аввакумова:

*За этим не заговор и не намёк,
За этим — желанье Господне.
Он нас породил. Он один и убьёт.
А прочие все — самозванцы.
Да их ли бояться! Не трусь, паренёк,
На русский призыв отзываться.*

Старообрядчеству семнадцатого и восемнадцатого веков учёные отводят особую роль в русификации и освоении российских пограничных земель. Селились, молились, сживались с другими народами, работали, пахали, сеяли... Теперь изменилось всё. Нужно русифицировать самих русских, и вовсе не на окраинах, а в больших городах.

Я, однако, далёк от мысли, тем более от убеждения, что старообрядчество, каким оно сложилось ныне, всё это выполнит. Оно даже не ставит себе таких задач, не предлагает подобных приоритетов. Оно сегодня слишком упорно стремится стать частицей, пусть маленькой, пусть едва заметной, современной государственной системы, играть по её “буржуйским” правилам, обрести в ней себя, надеясь на подачки, на милость, на “брошенную кость”. В нём нет того мощного мирянского движения, какое было в начале XX века,

с регулярным проведением съездов, с постановкой стратегических задач. Наиболее крупных профессиональных ответвлений это касается в полной мере, другие слишком малочисленны, чтобы что-то менять. Проповедь против непомерного обогащения и вовсе не слышна. Это дело какого-нибудь уже современного одинокого Яшки.

Пустозерский костёр — как таинственная точка истории Православия на Руси. Оно сгорело и превратилось в пепел. Что-то иное пришло на смену, подделка, “иное мерило”, говоря словами Ивана Аксакова. Началась иная Россия. Я пока не добрался до Пустозерска, а один мой знакомый, побывавший там, поведал, что его охватило странное ощущение вечности: ходишь, смотришь вокруг, и кажется, что прошло только двадцать минут, а на самом деле — четыре часа. Как будто остановилось время. Или идёт, но медленней, незаметно. Так, кажется, стоит в реке вода, отражая неподвижные кучевые облака, а на деле течёт, и нельзя в неё войти дважды...

Остановилось время, и значит, сруб ещё горит.

Современное старообрядчество не осознаёт, каким сокровищем оно обладает, — особым опытом сбережения родовой памяти, подорванным у русских. Именно её, эту родовую память, пытается отыскать и обрести в романе “Белые гуси на белом снегу”, вышедшем на излёте советских лет, почти забытый сегодня прозаик Елизар Мальцев. Немало написавший о колхозной деревне, он задумался о собственных семейных истоках. На стене сельского дома в комнате он видит “прикнопленные” репродукции из “Огонька”. Среди них — “Боярыня Морозова” Сурикова. “Сколько раз в жизни — и мальчиком, и юношей, и совсем недавно — я задерживался перед этой картиной в Третьяковке, но ни разу мне не подумалось, что боярыня Морозова имела отношение к жизни моих далёких предков, а значит, и ко мне”. Он понимает вдум, что без исторической памяти нет и народа, и ему самому предстоит “держать экзамен перед этой непреложной истиной”. Филолог окрестит этот художественный приём мудрёным словом “введение экфрастического сюжета”. Толпа вокруг саней с жидкой соломенной подстилкой, где сидит опальная старообрядка, раньше писателю казалась безликой. Но теперь он замечает, что в ней нет равнодушных лиц. Какой-то попик глумливо похохатывает, лицезрея чужое унижение, кто-то зубоскалит, слегка хихикает, просто ухмыляется, но больше сочувствующих: застыл на месте странник с котомкой, всплеснула руками барышня, а рядом, прижав ладони к груди, склонилась в молчаливой скорби её подружка, “и уж совсем не случайно оказался здесь босоногий юродивый... он единственный из всей толпы отвечал боярыне двуперстным крещением”. За розвальнями бежит мальчишка, оставляя глубокие следы в снегу. Он изображён спиной к зрителю.

Последний абзац первой части “Белых гусей...” мне хочется выписать: “Я жадно смотрел на этого подростка, месившего валенками снег, на левый рукав его полушубка, слишком великий для его малой руки, и мне уже казалось, что это я сам бегу за санями, пытаюсь хоть одним словом выразить свою жалость опальной боярыне, бегу в своё прошлое, чтобы отыскать потерянный след нашего древнего старообрядческого рода. Ведь если без памяти о прошлом нет памяти о настоящем, то кому в блужданиях и потёмках откроется истина?”

Герой осознаёт, сколь значима родовая память, которая вмещает в себя нераздельно не только собственную историю с её личной оценкой, но всю историю народа. Так каждый должен представить себя этим мальчишкой, бегущим за собственной Историей, которую увозят на санях, отыскать и осмыслить созидательное чувство родства с событиями далёких уже веков. Этот путь в прошлое у каждого свой, он начинается с чувства, с осмысленного переживания, с сердца. Лишь через это открывается правда и таинственное сродство ушедших и будущих поколений. Не бойся быть русским, ты у себя дома.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины не только ты один мне поддержка и опора, великий и могучий русский язык, но и мученики “Винограда российского”, но ещё — как великая ценность, через унисонное пение и гуслицкую заставку, где каждая буква похожа на распутившийся райский цветок, через меднолитое распятие в почерневшей доске, когда-то запрещённое Синодом, через поблёкшую страницу подпольно изданного старообрядческого гектографа — ощущение неразрывной нити,

связующей меня с моими русскими предками, которых я не знаю и не могу знать, но верую, что здесь, именно здесь и где-то рядом, тенью восставая из небытия, они направляют меня по жизни, они всегда живут и незримо присутствуют рядом. Всякий путь времён, каким бы длинным он ни был, лежит через человеческое сердце. Моя история – моя опора и защита. Со мною мой язык и память, и честное писательское слово...

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 тт. Л., 1974. Т. 9. С. 120.
- ² Достоевский Ф. М. Указ. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 255.
- ³ Лебедев Е. Н. Ломоносов. М., 1990. С. 26.
- ⁴ Ломоносов М. В. Слово Похвальное блаженным памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 10 тт. М.–СПб, 2011. – Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732–1764. С. 543.
- ⁵ Бубнов Н. Ю. Ломоносов: первые шаги в науку // Ломоносов и книга. // Сб. научных трудов. Л., 1986. С. 33.
- ⁶ Малышев В. И. Библиография сочинений протопопа Аввакума и литературы о нём 1917–1953 годов // Труды Отдела древнерусской литературы. М.–Л., 1954. Т. 10. С. 435.
- ⁷ Чагин А. И. Пути и лица. О русской литературе XX века. М., 2008. С. 27. Курсив автора.
- ⁸ Поморские ответы: В 2-х кн. М., 2016. – Кн. 2. Переложение на современный русский язык. С. 23–24.
- ⁹ Соловьёв В. С. Собрание сочинений (1877–1884). СПб, 1901–1907. Т. 3. С. 227.
- ¹⁰ Там же. Курсив В. С. Соловьёва.
- ¹¹ Там же.